

ЭММА ГЕРШЕЙН:  
ЦИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ

*Этот воздух пусть будет свидетелем  
Дальнобойное сердце его  
И в землянках всеядный и деятельный —  
Океан без окна — вещество*

О. Мандельштам  
«Стихи о неизвестном солдате»

Эмма Григорьевна Герштейн читала стихи Мандельштама очень строго, сосредоточенно, немного сухо, как читают автобиографическую прозу. Будто бы говорила: да, это о войне и мире, о неизвестном солдате, но немного и обо мне.

Очевидно, что она совершенно точно знала, что хотела сказать, и мандельштамовские строки были кратчайшим путем ее мысли, ее опыта, ее судьбы.

Я попал в дом Эммы Герштейн вместе со съемочной группой телеканала «Культура» в 1999 году. Эмме Григорьевне было 96 лет, и этот год выдался необычайно урожайным. Опубликованная в предыдущем 1998-ом книга «Мемуары» принесла Герштейн сразу две престижные литературные премии — Букера и Антибукера. Казалось бы, наконец, она перестала быть «неизвестным солдатом», о ней заговорили, ее стали приглашать на теле— и радиопередачи, чем вызывали у нее крайнее раздражение.

— Я уже несколько лет не выхожу из дому, — ворчала она, — разве это кому-нибудь интересно? Мы пришлем за вами машину!..

Единственная машина, которая устроила бы ее, была машиной времени, и она и так находилась в ее небольшой квартире на «Аэропорте». Ее обступали люди, давно ставшие историческими персонажами, но для Эммы Григорьевны они не были историей. «О, какой скандал закатила Наденька прямо на лестничной клетке! Она вообще была очень скандальной женщиной, разве вы не знали?» Речь шла о Надежде Яковлевне Мандельштам, зная которую по вполне объективным причинам я не мог, но почему-то ежился, ожидая, что сейчас дверь в квартиру распахнется и Наденька появится на пороге.

*Что Мандельштам? Эмма Григорьевна всю свою жизнь занималась изучением творчества Лермонтова и строки:*

*И за Лермонтова Михаила  
Я отдам тебе строгий отчет  
Как сутулого учит могила  
И воздушная яма влечет*

— звучали в ее устах именно как отчет о проделанной работе.

— Я совершенно ничего не могу делать, — жаловалась Эмма Григорьевна. — Я пишу за день не больше двух страниц...

Она просила помочь ей и из стола появлялись рукописи новых неоконченных работ о Пушкине, Лермонтове, Мандельштаме и других ее современниках. Я не оговорился, именно современниках. Эмма Григорьевна чувствовала себя «неизвестным солдатом» русской литературы, а он либо по-мандельштамовски никогда ничей современник, либо всегда и всех.

Я приезжал к Эмме Григорьевне дважды, и обе беседы длились по несколько часов. Больше с включенной камерой, немного не для нее. Поражала ясность мысли и лаконичность речи. Та самая «ясность ясеневая и зоркость яворовая» из «Стихов о неизвестном солдате».

Часть монологов Эммы Герштейн вошли в программу «Цитаты из жизни», часть была, к сожалению, утрачена. То, что сохранилось, вошло в эту публикацию.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

— Эмма Григорьевна, расскажите о своих ощущениях начала революции.

— Я напомним, как Пастернак где-то написал о начале революции, о февральской, еще до октября, что люди сходились на площадях, им хотелось говорить друг с другом о своей жизни. Так глубоко я, конечно, не могла тогда понимать, но я очень хорошо помню визуально, как это выглядело: по улицам бродили колонны людей, очень много женщин, работниц, вся улица, вся мостовая — я Москву имею в виду — была усыпана подсолнухами, т.е. шелухой от семечек, и

пели они революционные песни. И когда сталкивались две колонны, одни пели «Варшавянку», а другие: «Мы жертвами пали в борьбе роковой...»<sup>1</sup> А кто-то даже «Интернационал». Но самая любимая была «Варшавянка», по-моему, тогда. И это зрелище, такое колеблющееся море, захватывало, но не всех. Я помню, когда уже был октябрь и первый декрет был напечатан, и я прибежала домой очень взволнованная, а там сидели мой брат и двоюродная сестра, моя сестра играла Аппассионату: «Отстань, не мешай нам, мы слушаем музыку». И я была ими не понята тогда. Но потом, потом есть несколько сцен, которые нельзя забыть. Я о событиях говорить не буду, их все знают и смешно их анализировать, но вот был такой случай, это уже 1918-й год, я тогда узнала, какая я трусиха. Было как-то не очень светло, уже конец ночи, и что-то меня заставило войти в столовую. А у нас такая была квартира, такая столовая большая была, что в ней был еще и «альков», — такой косой срезанный фонарь, окно, и что-то меня заставило туда войти, какой-то шум. И только я подошла к окну, как бац, — пуля разбила стекло, и я не помню, как очутилась уже у двери, я так испугалась... я уже у двери, а там — осколки. Это выбивали анархистов из купеческого клуба. Мы рядом жили, там сейчас ленкомовцы, театр, вот их оттуда выбивали, и с угла, уже с переулка, пуля попала в это наше косое окно. Вот такое воспоминание от этого времени. Еще воспоминание. Во-первых, мы были интеллигенты, спекулянтов презирали, и голодали безумно, это уже 19-й год. Страшный холод был, а мы жили на Малой Дмитровке, и там безумно холодно было, там нельзя было жить. А мой старший брат, ему шел семнадцатый, но он был изобретательным. Он на буржуйке — знаете, конечно, буржуйку, дым идет назад, главным образом, — так он на ней жарил картофельные очистки на рыбьем жире и тем он питался, ходил он по улице, в романовском полушубке, который остался у моего отца еще с японской войны, тот был на войне, был в Манчжурии, а брат был такой худенький, такой зелено-бледный, только нос виднелся красноватый, сгибался под тяжестью этого тулупа. А потом были парады, и я ими увлекалась очень, я нигде

---

<sup>1</sup>Песня А. Архангельского:

*Вы жертвою пали в борьбе роковой  
Любви беззаветной к народу,  
Вы отдали всё, что могли, за него,  
За честь его, жизнь и свободу!*

не видела снимка, может быть, есть такие, где сфотографированы первоначальные трибуны, они были

быстро наскоро построены, деревянные, они имели восточный вид, какие-то крыши. У меня так остались в памяти, а снимков я не видела. И вот огромная демонстрация, и по улице везут коненковского Степана Разина, это было очень внушительно. К трибунам не подпускали, там было огорожено, но я пролезала снизу, и там выступал Троцкий. У него был очень хороший поставленный зычный голос, великолепное красноречие, но такое «элеканс», французское, он вообще оттуда, это было необычайно эффектно, он был вождь, а вот некоторые люди того времени, очень немногие, и те, кто только по книгам знают о тех событиях, думают что Зиновьев и еще там кто-то, что они все одного поля ягоды. Нет, вождем были тогда Ленин и Троцкий. И даже были частушки, если позволите, я вспомню.

*Птичка зернышко клевала  
Из навоза скотского,  
Моя теща обалдела,  
Увидавши Троцкого.*

А другая была поострее:

*Что я вижу, что я слышу  
Ленин с Троцким влез на крышу  
И кричат всему народу  
Вот вам шиш, а нам свобо...*

А там обрывалось последнее. Свобода т-та-та-та... Вот такие были частушки и куплеты. Это все передает атмосферу, то как люди к этому относились. Еще довольно легко, они ведь не знали, что за этим последует. Но ЧК уже был, только пока не для всех. Были определенные группы, которых понемножку подозревали, ну а потом, вы знаете, «выпустили» философов. Вот это — незабываемое. Ну и как возили коненковского Степана Разина. Подъем, конечно, был необыкновенный.

Да. Ну, а Москва выглядела так. Улицы не чищены, все в снегу и сугробах, потому что не было асфальта, не чистили, и всегда сбоку

были глубокие снежные белые сугробы, — очень уютная была Москва, но из саней вываливались, потому что улицы не чистили, и ходили пешком. В общем, я ходила с улицы, сейчас скажу, на какой улице я жила, очень далеко уже, за Садовым кольцом, это считалось уже не то... Не центр. А я на Скатертный переулок ходила, там была какая-то квартира для комсомола. Во всяком случае, Леопольд Авербах был там, и там мы учились с Идой Авербах, которая потом была мадам Ягода, но она была школьницей пока. И вот я к ней пришла пешком через всю Москву, через все сугробы, и там Леопольд меня взял в обработку — что такое там Маяковский и те, другие, а вот пролетарские поэты, Кириллов там, еще кто-то, — это да. Он очень был назидательный и напористый, Леопольд. Но у меня остались в памяти только прогулки через всю Москву по сугробам, было много снега. Потом мы в школе должны были чистить снег с крыши сами, значит, все уже было в развале, и это было очень большое наслаждение, прямо в небо глядели, а школа наша была на Знаменке, там сейчас музыкальная школа, и там был забор, откуда всегда шел шум, на переменах в футбол играли. А вот тут, на крыше, было уже такое возвышенное настроение, прямо в небо смотрелись, счищали снег, все это очень весело. Не думаешь о том, что вот какие времена, что кто-то брюзжал, старики, даже мои родные, и то пугались, что будет, что продовольствия не станет. Но нас это... мы не понимали, хотя нам приходилось на салазках ехать на Волхонку и получать там котел с супом, это был суп из сушеной воблы, мы привозили его в гимназию, она еще так называлась, но была уже, считалась как единая трудовая школа. Вот такое московское впечатление о том времени. Да, как только случился октябрьский переворот, какие-то знакомые над нами сжалились, уговорили, что без спекулянтов нельзя обойтись. Да дети же помрут у вас, и дали адрес какого-то спекулянта. Оказалось, что он не какой-то, а настоящий Платон Каратаев. Жил он в подвале университета в старом здании, и я пошла к нему пешком, конечно, с Малой Дмитровки, мы жили тогда на Малой Дмитровке, а неподалеку был Путинковский переулок, и там жил Рахманинов, там, где сейчас кино «Россия», дом потом снесли. Я тогда пошла через Тверскую, и кажется в витрине магазине Филиппова, который и сейчас известен, было пусто, все было украшено кумачом, и висел портрет Ленина. И два завсегдатая Москвы, которые фланировали по Тверской и по людным местам, у храма Христа-Спасите-

ля, там же холмик был — скверик, затем, ну, еще по таким, по излюбленным местам. Причем, я напомним, все площади были круглыми, посредине была клумба, и вот там гуляли, такой тамошний бродвей был, но никто ж так не сравнивал ни с чем, все считали, что это лучшее, что есть. И вот они прошли мимо этого магазина Филиппова, где портрет Ленина с кумачом красным, и больше ничего, и два этих интеллигента, элегантные по-своему, вовсе не франты, незнакомы друг с другом, с двух сторон подошли к витрине и только обменялись взглядами, понимающими, ни слова не сказали, но я это подметила. Так вот. А я пошла, значит, в университет за хлебом, прямо на закате. Такой пылающий закат был. Я вхожу туда вниз, уютнейший мужичок, уютнейшая его жена. У них русская печь, и они пекут хлеб и продают его. Это было событие: и вся эта прогулка, и, не знаю, как назвать, два интеллигента, а потом пошло... Вожди стали раскатывать на машинах, а сзади еще машина охрана. Они мчались. Были митинги в Большом театре. Я помню выступление Радека, который очень хороший оратор. Он говорил, что все напоминает 14-й год. Пугали, они всегда любили пугать. 14-й год, вот будет война и все такое.

Однажды, когда я ехала за супом из воблы, на улице Ленивка... Там когда-то Пастернак студентом снимал комнату. А я очень любила эти места. И вот я прохожу по Ленивке без супа, который мы возили в котле (я вообще очень любила гулять по Москве), а мой старший брат, которому было 16, говорил, что он не может уважать человека, у которого главное занятие — ходить по Москве. Это очень большая пустота, по его мнению. Но я проходила по Ленивке, там был опять магазин, такая на витрине подставка, уложенная красным, абсолютно пустая. Пустой абсолютно весь магазин. А наверху портрет Троцкого и больше ничего. Портрет Троцкого и пустой магазин, покрытый красным. И вдруг... с правой стороны по этой витрине пустой ползет вот такой величины крыса, откормленная. И медленно важно дошла до выхода и скрылась. Знаете, это какое-то апокалипсическое впечатление. Поэтому я вам и рассказываю, это Москва такая была. 18—19-е годы. Митинги были, я на них бывала, и там была очень публика требовательная в смысле приличий. Солдаты выступали, бородатые какие-то ополченцы, и вот один так крикнул (они же кричали, вопили, рвали на себе рубахи), а он такой бородатый, и он сказал, что они 4 года уже без женщин... Раздался такой свист, как он неприлично говорит, мы не хотим слушать этого.

Это еще такое переломное время было. А потом, вы знаете, как все это было, год великого перелома, я его ощутила так. Я не знаю, может, я лишнее говорю?

Я ощутила его так. У меня был какой-то поклонник-кавалер, но я была очень молодой, естественно... Он служил где-то, а после службы, вечером, брал свой малый джентльменский набор и шел к какой-нибудь барышне. И вот он пришел ко мне. И он вдруг говорит: «Вы меня простите, я вынужден буду курить ваши папиросы (а он курил «Казбек»). Нигде нет папирос, я всегда выхожу и покупаю по дороге папиросы. Нету. И даже рассыпных нету у мальчишек (продавали рассыпные папиросы для нетребовательных джентльменов). Ничего нет». Вот это и было начало года великого перелома. Потом этот же знакомый меня... очень мне опротивел, когда самоубился Маяковский. Ну да, это через год, в общем, это одно и то же. Он уверял: Маяковский захотел славы, он для этого застрелился. Но это такое мнение было толпы. Очень противно. Очень противно. И я, конечно, с ним больше не встречалась никогда, но вот они так, понимаете... да и сейчас много таких. Таковы были те годы.

Теперь 30-е. А я уже познакомилась у Мандельштама с Ахматовой, и я ее спросила, чем мне заниматься? И она предложила мне заниматься Гумилевым. Нелегально, конечно. Ну, не то чтобы нелегально, но — не для публики, даже не для знакомых. Я в это вникла и была полна этим, много читала. Но надо же и на службе быть. И это было что-то ужасное. В ГУМе были очереди на 2 тысячи — писали на ладони — за каким-нибудь куском ситца и т.д. А напротив был Ветошный переулочек, и там я должна была что-то, какую-то бумагу достать ... Одно дело, когда это все описывают, а другое дело, когда жизнь уходит на это. И вот — в то время я уже была полна так называемым Серебряным веком, я думала о символизме — я торчу в этом Ветошном переулке... Темная передняя, а там была какая-то годовщина Сталина, что ли ему 40 лет было, не знаю, и его фотография... Стенгазета, ему посвященная, и там его портрет. Этот низкий лоб, это молодой еще Сталин, но такой чужой... такое вот я запомнила. Вот тут я занимаюсь: Брюсов, Гумилев, Вячеслав Иванов, и вот кто идет, прямо ощутила физически, вот кто. Ну да, раз была уже стенгазета, ему посвященная, он уже был хозяином, конечно. Вот что я запомнила из тех времен. Потом, потом я познакомилась с Мандельштамами и очень уже была изолирована от всех, от обыденности со-



ветской. Это было уже как другое крещение. У меня были некоторые задатки, и тут они развились. Это была очень изолированная квартира от всех, но Надежда Яковлевна очень любила общение с людьми, она как-то умела подчинять и умела внушать, это я писала, я повторяю. У нее был дар внушения. Она затягивала людей, понимаете, они начинали делать то, что делала она. И даже когда уже в очень позднее время она была у меня здесь, а потом она учинила шумиху с одной нашей общей знакомой, которая жила в этом доме... Я забыла у этой знакомой очки и вернулась, но к ним нельзя было стучать, было поздно. Надя ничего-ничего не хотела слушать, подняла дикий шум — что там не открывают, что там то-то. Я потом пожаловалась Харджиеву Николаю Ивановичу на то, что она натворила, как это было бестактно, грубо и некстати. Он меня спросил, он мне задал вопрос, от которого я очнулась. Он спросил: да, очень плохо, но почему вы с ней выходили, почему? Я же знала, что этого нельзя делать. Она затягивала, она подчиняла себе, подчиняла, и про это надо сказать. Но это, конечно, не общий взгляд на 30-е годы.

— *Мандельштам любил Москву или он как-то к ней особенно относился?*

— Нет.

— *Не любил?*

— Он не только не любил. Да, я забыла вам сказать, какая же была Москва тогда, и где я жила, когда мы познакомились с Мандельштамом. Мы жили на Сухаревке, потому что там был институт Склифосовского, который моему отцу предложили, назначили директором и поручили организовать институт, он был хирург, большой общественник и очень хороший администратор. Какая-то касса взаимопомощи была, какая-то такая большая организация, землячества были, и он. С ним работал Обух, а он уже был большевик, кадровый, из верхних. И вот он привлек моего отца и назначил его директором Склифосовским... Потом отцу поручили на Полянке организовать сыпнотифозную больницу для ответственных работников, а там дали квартиру в саду. Был большой сад, была квартира, и мы туда переехали. И тогда я ходила в университет мимо Кремля. Я не могла себе представить, как можно жить где-нибудь в другом месте. Каждый раз я должна была пройти Малый Каменный мост, совсем не такой тяжелый, как потом построили. Легкий он был. Напротив была Цветковская, кажется, галерея, она и сейчас там, по-моему. Там



художники жили. Потом какой-то очень многоэтажный пестрый дом. Улица наша называлась Щипок, к ней прилежала Зацепа, а это была, как это называется, застава Щуп. Она была, на самом деле, не Щипок, а Щупок, там щупали, а на Зацепе уж зацепляли, или наоборот, не знаю. Такие названия. Ночью слышались, совершенно как в провинции, свистки паровозов от Павелецкого, от железной дороги. Затем запах... как они назывались... золотоноши (*Так у Э.Герштейн. — Ред.*), которые очищали. Без канализации были эти районы, и такой очень слабый запах от их бочек был, который с этими паровозными гудками составлял что-то. Как назвать, я не знаю, но что-то. Что запоминалось. Ну, так выглядела Москва в 30-е годы. Грязь. Причем Москва всегда была такая. Когда мы впервые приехали, во время войны, Первой, конечно, мы удивились, — что это такое? Какие-то выбитые тротуары кирпичные, ничего нарядного. А нас тогда сразу повезли в Кремль, — пожалуйста, доступ был свободный. Показали Царь-пушку, Царь-колокол, а кругом все это такое, невзрачный город. Ну, так и говорили: большая деревня. Вот такая была Москва. А уже когда свалили храм Христа, там была жуткая грязь, непролазная, и еще там строилось метро. Это была совершенно другая Москва, совершенно.

— *Эмма Григорьевна, а почему Мандельштаму Москва не нравилась?*

— Во-первых, ему не нравился Иван Великий. Мне это очень не нравилось. Недоросль, он любил архитектуру европейскую и бывал за границей, и читал. Влюблялись мы все в запад настоящий с его архитектурой, влюблялись по книгам, по альбомам, репродукциям. А он побывал там. Тогда было естественно поехать за границу. И у нас это было, до 37-го года. Во время НЭПа можно было туристическую поездку организовать тем, кто безумно этого хотел. Какие-то гроши собирали, чтобы заплатить, все-таки побывали. В Италии, во Франции. Это еще было, потом было уже все заперто. Это 30-е годы, я не знаю.

— *А вы как сами, чувствовали, у Надежды Яковлевны была способность приманивать, а у Москвы была такая способность приманивать? Вы ощущали на себе, манила она вас к себе или нет?*

— А как же! Румянцевский музей, библиотека. Это была такая красота! Я там с 20-го года была читательницей, и там был общий зал, черные столы длинные, никакой элиты, никаких спецзалов еще не

было. Вот там сидели и читали. Колонны белые, внутри такая лепнина, это красота, это была Румянцевская библиотека, Пашковский дом. Она еще не была Ленинской — вот что приманивало. А мне говорили: У тебя нет работы. Тебе не нравится, поезжай в деревню, вот будь культурной и будешь работать в избе-читальне. Я была в ужасе от этого. И потом, а что ты тут видишь? А я вижу Ленинскую, да, она уже была, нет, еще не Ленинской. Ну, библиотека. Вот это приманивало очень. Ведь там еще было очень много книг, еще не раскрали.

— *А театр вы любили?*

— Да, обязательно. Я расскажу, какой спектакль впечатление на меня произвел, я не забываю, никогда не забуду. Это мейерхольдовский «Великодушный рогоносец», причем потом его ругали, и мне даже приходилось в пятидесятом году какие-то беседы проводить с Ильинским в «Огоньке», так он так ругал спектакль, что я не могла понять этого. Значит, там был фон — кирпичная стена, но это наше, это рабочее, это современное. Мейерхольд же ходил в буденовке и в шинели. Они были в прозодежде все, и это была биомеханика. Но у главного героя, у Ильинского, была пупочка такая, бархатный галстучек такой, шнурочек вот, так что он отделялся. Но потом мне пришлось говорить с ассистентом режиссера, она была женой Гарина. Она говорит, что у них никаких — там же биомеханика, акробатика просто, — никаких смен рубашек, никакие мокрые они не выжимали. Нет, это они делали идеально, как циркачи. А потом там было так: одни были поклонники Бабановой, необычная актриса, а другие — поклонники Ильинского. Ну, более или менее. А потом я узнала, что они были на ножах — Бабанова и Ильинский. Но этого нельзя было себе представить там, в спектакле. Ильинский говорил мне, уже в пятидесятом, что ему так не нравилась Бабанова, что он хотел, чтобы ему дали другую актрису на эту женскую роль, он не мог с ней. Я не знаю, искренне он это говорил или нет, но все равно это был неотразимый спектакль. Между тем, там было жуткое содержание, и мне говорила Локшина, они сидели на определенных местах с Мейерхольдом... Нет, вообще не было разговоров специальных, и это видно по моей книге, по-моему. Я сейчас перечитываю первую часть моей книги, она была напечатана в Париже: «Новое о Мандельштаме». Я там только фиксировала, что он говорил, но только сейчас я это понимаю. Ну, во-первых, он со мной не говорил, ему неинтересно, ему нужен был очень квалифицированный себе-

седник, с которым ему хотелось спорить. И поэтому мы не говорили о театре, почему он не любит театр, но все свои шутки, конечно, он выкладывал, но так вот, как я отдельные замечания. Но я только теперь их понимаю. Они как-то у меня открылись.

— *А как он реагировал на живые события?*

— Очень, очень. Вот правый уклон его очень волновал, и он говорил: Ну, все притихли и смотрят, кто победит. Так он говорил. Он очень интересовался этим.

— *А ваша точка зрения совпадала с его или не всегда? Вы с ним спорили?*

— Нет, никогда, что вы, что вы. С ним нельзя было спорить, но он очень хорошо объяснял, если я говорю: я этого не понимаю. Очень благодушно, я бы даже сказала. У него не было так, что вот не твоё дело, не твоего ума дело, нет. Такого у него не было. Он уважал собеседника. Это петербургское. Ну, не знаю. В нём всего было столько, такая мешанина была, что очень трудно одним как-то черты его определить.

— *А вы были модницей в то время?*

— Нет. Наоборот. Не было денег на это. Но одно выходное платье обязательно. Без этого нельзя было жить. Какое-нибудь крепдешиновое платье — это необходимо. А уж если и на это нету, тогда уже бедствие. А так нет. Я не была модницей, ни капельки. И Надя не была, но она щеголяла нищетой и уродством. Это все было модно как раз очень.

— *А Анна Андреевна?*

— Анна Андреевна, она была нищей, у нее не было денег. Ей привез с Украины Пунин вышитое такое, вышитое платье... простое. Ну, так это было большим событием. Нет, она ходила в рубище. Но все равно, когда к ней заходили в квартиру, дамы были более или менее одетые. Служащая там дама какая-нибудь, она была прилично одета, как полагается в учреждении все-таки. Сумка была, обувь была, такая, как носят. Но она выглядела убого рядом с Ахматовой. Это очень многие мемуаристы подчеркивали. Ах, даже уверяли, что у нее была дыра в халате. Ничего подобного, дыры у нее не было, но было рубище, которое выглядело очень красиво.

— *Но вы ощущали, что по одежке встречают, или, когда приходила Ахматова, о таком никто не думал?*

— Нет. Тогда никто не думал. Они все подлизывались к ней больше. Ну, в общем, она просила меня с ней пойти к Раневской, а когда

мы позвонили и нас впустили, Анна Андреевна говорит: «Знаете, вы снимите пальто здесь. — У меня было очень жалкое пальто, а так костюмчик ничего, приличный. — Вы уж здесь снимите, чтобы это не фигурировало, это жалкое пальто». Раневская могла же высмеять кого угодно. Она волновалась за меня. Но Раневская очень была ко мне расположена. Ну, правда, после смерти Ахматовой все как-то хотели встречаться. Она меня встречала как гранддаму, Раневская: «Подвиньтесь, сядьте поудобнее». Угощала, вообще такая была светская. Ну, актриса. А может, искренне, не знаю. Она мне дала самиздат «Собачье сердце».

— *А вы лично ощущали масштаб людей — Ахматовой, Мандельштама?*

— Безусловно.

— *В чем это проявлялось?*

— Во всем, во всем. Я не знаю, некоторые... Вот меня раздражает, прямо скажу. Вот последнее самое окружение Ахматовой. Раздражает потому, что они воображают — я недавно где-то прочитала, — что у Ахматовой была школа: Найман, Рейн, кто там еще. Вот эти все мальчишки. А Ахматова была в таком положении, в таком возрасте, что она была рада любой помощи. Конечно, ей было приятно, что они все к ней пришли. Ее катали в кресле, если она не могла ходить уже, и прислуживали ей, и развлекали, конечно. Во-первых, рассказывали, что было, что видели, — жизнь была. Молодые люди, очень ее любящие, так казалось, во всяком случае. Но назвать это школой, назвать, что... ну, кое-чему она их учила, очень поверхностно, — что не надо складывать по складкам носовой платок выглаженный, а надо смять его наоборот, надушить хорошими духами или одеколоном и сунуть в карман уже смятый. А наши до сих пор ведь, сейчас перестали, а то высморкается, потом сложит аккуратненько и положит в карман. Она не могла, она же воспитана была иначе, но это было не ахматовское, а просто человеческое, от того общества. Потом сюда, в нагрудный карман, надевали ручку, что-то еще, папиросу что ли и расческу. Она говорила: «Мне всегда хочется спросить: а где ваша зубная щетка? Почему они тут носят расческу? Потому что он снимет шляпу или там кепку, так надо волосы пригладить. Ну, не понимает». Ну, и не поняли. Так многого и не поняли. Вот она таким вещам учила, а друг ее был настоящий в этой компании — Бродский. Потому что он был поэт, у них был свой разговор, кото-

рый бывает между поэтами. Я не могу его передать, он сам не может, он ничего особенно не передавал. Он ее очень любил, потом он говорил, что Цветаева лучше Ахматовой, но в зрелом уже возрасте. Дело его, в конце концов, но он ее очень и очень любил, и у них был свой разговор, и даже она ему писала письма. Она же не писала писем все время сталинское, она не могла. Это были не письма, а записки какие-то, а есть письма. Они печатались. Иосиф то-то и то-то, у них был свой разговор, а все остальные, которые сейчас фигурируют, это фикция, это не разговор.

Ой, я забыла. Я хотела вас развлечь чудным рассказом об Ахматовой. Я прочту. Вот черновик, это рассказ Марии Павловны Ольшевской, невестки Нины Антоновны Ардовой, жены ее брата. Она была у меня, она такая очень шустрая женщина. Руки у нее умелые, она мне помогала там что-то подправить. Я должна была поехать в Дом творчества, и она меня собирала, так сказать, и при этом не закрывала рта. И вот какой случай был.

«Приезжаю я на Ордынку, а Виктор Ефимович воскликнул:

— Вот вовремя приехали! Надо проводить старух на вокзал. Анна Андреевна едет в Ленинград, а Раневская едет к ней в гости. Миша должен срочно уйти. Я не могу. Ничего не надо, машина уже стоит во дворе, поезжайте с ними и посадите в вагон.

Вышел с нами к машине, посадили дам в салон, я сажусь рядом с водителем. Доехали уже до Моссовета, и Фаина Георгиевна спрашивает:

— А где мой чемодан?

Анна Андреевна:

— Какой чемодан? Зачем вам чемодан?

— Ну, у меня там зубная щетка, мыло, полотенце. Мне он нужен.

А Анна Андреевна:

— Я езжу без зубной щетки, мыла и полотенца. Мне все дают. И вам дадут у нас.

— Нет, я не могу без чемодана, он мне нужен!

Шофер тихо говорит мне:

— Я никаких чемоданов в машину не брал.

Командую решительно:

— Живо обратно на Ордынку!

Анна Андреевна:

— Не нужно.

Я:

— Мы не можем ехать без чемодана!

Анна Андреевна:

— Но зато поезд может уехать без нас.

Шофер все-таки гонит машину переулками, какими-то закоулками и приезжает на Ордынку. Только мы въехали во двор, первая увидела Анна Андреевна: одиноко стоят прислоненные к стенке противоположного дома два небольших чемодана. Анна Андреевна открывает дверь машины, пола серого пальто повисает в воздухе, и спокойно говорит, как будто так и надо:

— Ну, вот и наши чемоданы.

Шофер, сломя голову, снова мчит на вокзал. К нашему счастью, вагон оказался последним, то есть первым от выхода на платформу. Только я их посадила, поезд медленно тронулся с места. Вернулась я на метро на Ордынку, рассказываю Ардову. Он хохотал как сумасшедший. И как только эти чемоданы во дворе никто не унес? Удивительно!»

— *Эмма Григорьевна, ваши мемуары — удивительно женская книга. В ней много женской интуиции, женских оценок...*

— Да, я сама об этом думаю очень много. Дело в том, что на Западе очень много ученых женщин, и не только ученых, но, видите, теперь их привлекают уже не к общественной деятельности, а к политической, и они как будто справляются. Я не знаю, нам трудно судить, но справляются. Потом у нас часто рассказывают, что делается в регионах, там тоже есть женщины очень толковые, и очень хорошо говорят. Пожалуй, лучше мужчин. Там есть такие что разбогатели, но и тоже все-таки предпринимательство, пусть отрицательное, но темперамент, энергия, об этом, конечно, еще будут писать, конечно, и изучать, что это такое. Но есть много отрицательного.

— *А что отрицательного?*

— Что отрицательного? Цинизм в женщине, который превосходит мужской, потому что мужчины... но, в общем, я женщина, поэтому не буду восхвалять мужчин. В них много неприятных для нас сторон, но они иногда краснеют. Вот это можно сказать точно: мужчины иногда смущаются. Женщина, когда она уже перешла какую-то границу, ничего ее не сокрушит. Она может ругаться, хвастать этим и даже уже не замечать, как она выражается и как она показывается. Сейчас этого не будет, это уже надоело — этот весь стриптиз и все, но

они превосходят, по-моему, цинизмом мужчин. Науке неизвестно, почему, но кругозора такого большого не может быть у женщины. У нее другое качество совсем, — интуиция, конечно, гораздо больше. У мужчин, конечно, у избранных талантов есть интуиция — у ученых, а так нет. Они головой работают главным образом. А женщина — эмоция.

— *А где грань? Когда вы вспоминаете о ваших отношениях с Надеждой Яковлевной, трудно провести грань, где кончается интуиция и начинаются эмоции? Это связано непосредственно с этим человеком?*

— Именно с этим, конечно. Она поразительно себя вела. Я вот вчера говорила с Лиснянской, которая только что получила такую благородную... ей присудили солженицыновскую премию, это очень почетно и так благородно. Она меня попрекнула: «Вот как же вы пишете о Надежде Яковлевне, что вы не были подруги. Значит, она вас во что-то посвящала, а вы ее разоблачаете?» На самом деле, это неумение читать по Лиснянской, потому что ясно, что Надежда Яковлевна вся была на людях, у нее никакого не только не было стеснения, а было влечение к этому — чтобы обязательно все знали. Она иногда даже такие вещи писала, если ее взять письма. У нее заболела невестка, это какая-то очень тяжелая и интимная вещь — болезнь. Она работает, невестка-художница. Она пишет приятельнице — вдове Грина. Есть это письмо, оно в архиве. Она рассказывает, чем больна эта ее ближайшая родственница. У нее нет даже какого-то, пусть инстинктивного, чувства стеснения. Нету совсем. Потом были такие эпизоды: Евгений Яковлевич, ее брат, и Надя украли у меня Шпенглера «Закат Европы». Они сказали, что ничего подобного, у них свой. У меня он был весь исчеркан так, как я его понимала. Конечно, я не могла понимать всего, объем у него очень уж большой. И все время они мне говорили, что это глупости и вообще книга мне не нужна совсем, а вот они умные, они будут изучать. С тех пор прошло много лет, настала война, и Надежда Яковлевна уже была в Калинин, то есть в Твери, тогда это был Калинин. Пришли немцы, и они бежали, их эвакуировали всех. И она мне говорит: «Да, а вашего Шпенглера сожгли немцы». Она помнит, значит, что она у меня украла Шпенглера, и отрицала это, я не знаю, с каких пор, с двадцать девятого, допустим, или тридцатого года — десять лет, а теперь уже совершенно спокойно говорит: «А вашего Шпенглера



сожгли немцы». И я ей верю, действительно она не могла бежать с Шпенглером под мышкой, это была уже действительно правда. Потом еще такие же эпизоды. У нее была память на собственную вину, и ей это доставляло удовольствие. Ей это нравилось. Нет, она сатанистка настоящая, Мандельштам. Надежда Мандельштам. Так вот она была сатанисткой, и мы с Сергеем Александровичем Надевым, который здесь присутствует, не согласились в одном. Он говорит, что она была ничтожество как талант, я говорю нет. Ее главная черта — подлость, потому-то я приводила в своей книге, какие она писала письма Харджиеву, какие письма! Она ему писала так: «Знакомых много, а родной только один, вот вы! Я не знаю, наши мамы тут, я не знаю, в каком мы родстве, но вы близкий мне человек». И она никогда не забудет того, что когда она узнала, что Осип Эмилевич погиб, она была у него, и как он умел к ней подойти и говорил: «Надя, ешьте. Это дорогое печенье, ешьте, это сосиска. Это для меня как знамение, как талисман». А потом она уже дошла до того, что писала, говорила мне, звонила, — я ведь с ней и поссорилась из-за этого, — он вор. Он украл у меня рукопись, и, самое главное, — она написала в книге, — что люди очень чурались знакомства даже не только с врагами народа, но и с членами их семейств. «И Харджиеву не было неудобно», — так она пишет в книге, можете ее прочесть. Написать про нас, не стесняясь, что мы ее избегали, потому что она родственница, жена врага народа. И поэтому она сделала вид, что кто-то донес, такое выражение вообще, донес Ахматовой, что Надежда Яковлевна превратилась в скучную учительницу. Она не знала, кто из нас. Кстати, это я была, но я вовсе не доносила, а говорила Анне Андреевне: «Надежда Яковлевна так увлекается тем, что делает, что она и тут на уровне учительницы». Она же учительницей была. Потом она писала в своей книге, что был ордер на ее арест, но она ускользнула, ее по недосмотру не арестовали. То есть, ей нужна была эта честь страдальцы. Она страшно изменилась. Она показала свою сущность.

— *Вы думали, что она была другой?*

— Это было... а может быть, она была очень ласковой? И очень чуткой. Она умела совершать поступки, чтобы их одолеть. Вот даже у меня есть ее письма, когда они поехали в Калинин, ее никто не звал. Кстати, она обменяла... дело в том, что квартира, которую получил Мандельштам в свое время, она была Осипа. И когда Осипа взяли,

то Надежда Яковлевна ездила с ним, но она очень часто приезжала в Москву. А мать ее тут же жила. Правда, их потеснили, забрали одну комнату, но она же была прописана там. И в конце концов, Надежда Яковлевна эту квартиру обменяла на Калинин. И тогда она описала в книге, как ее преследовали. Ну, конечно, ее преследовали. Но всех преследовали. У нее только было с жилищем очень плохо. А потом она на всех людей, которые ей помогали, методично... Есть такой инстинкт у людей, к сожалению, подлых, не быть никому обязанными. Если тебе кто-то оказал благодеяние, тебя спас, то она уже таких людей ненавидит, благодетелей. Вместо того, чтобы быть благодарным и сказать, ну, я никогда не могу расстаться с ним, я так благодарен, правда? Он спас меня. А она, наоборот, про всех говорила плохо, — ну, я сейчас этим занимаюсь. К сожалению, у меня рука болит, поэтому я с очень большими интервалами диктую и никак нельзя дойти до конца, потому что нет возможности.

— *Получается, что Цветаева права, когда говорила, что давать надо только богатым, помогать только сильным. Они поймут, они оценят?*

— Да? Я не знала, это у Цветаевой это есть, да?

— Да.

— В записи?

— Да.

— Да? Ну, Цветаева это была сложная тоже штучка.

— *Вы общались с Мариной Ивановной?*

— Нет, я только один раз ее видела. Вот когда было у нее свидание с Ахматовой. Причем, очень интересная вещь. Это свидание Ахматовой с Цветаевой — первое личное — было за две недели до начала войны. Она считала, что это был июль, нет, июнь, сороковой год, когда война началась, но не с нами. Потом я спрашивала Николая Ивановича, когда это было? А это было именно у него, в его квартире было. Он жил рядом с театром Красной армии, и там как раз шла премьера, уже несколько раз проходила, участвовала Ардова-Ольшевская в пьесе Шекспира. И Анна Андреевна сказала мне, что она будет у Харджиева, что там будет свидание с Цветаевой, чтобы я за ней зашла, и мы пойдем вместе в театр. Это очень близко от его жилья. И я пришла, и там была Цветаева, я это описала: как себя вела Цветаева, как вела себя Ахматова, а потом мы все вместе вышли и потом разошлись. Значит, Цветаеву провожал приятель Харджи-

ева, который ее и привел, а она очень чуралась трамваев, автобусов, и они пешком пошли. А мы пошли в театр, Харджиев нас провожал в театр. Вот это один раз, когда я ее видела и описала. А во время войны, или перед войной, я познакомилась с невесткой Цветаевой, сестрой родной Эфрона, мужа Цветаевой.

— *Елизаветой Яковлевной?*

— Елизаветой Яковлевной. И с тех пор я была с ней дружна и близка очень. Мы разговаривали о Цветаевой, но не слишком. Я вовсе не так интересовалась Мариной. Ахматовой я задала один вопрос, причем я даже не знала, какой в нем смысл. А сейчас я уже знаю, какой в нем смысл. Вот сейчас. А задала я его в самом начале знакомства. У нее было стихотворение о безголосом соловье, так сейчас не могу процитировать точно, но там соловей безголосый, весь нахохлившийся, сидит и слушает, как другие поют, а он не может. Но, казалось, то ли он заболел и потерял голос.<sup>1</sup> И я спросила: «Вообще бывают соловьи безголосые? Бывает такая шутка природы?» — «Нет, это я придумала». И только теперь я поняла, что это вообще не ее метод творческий, но об этом я сейчас говорить не могу. Я надеюсь, что моя работа будет напечатана все-таки, и там будет это выяснено. Но тогда я просто так спросила. А что же, они существуют, такие соловьи? Вот. А это была она, на самом деле. Она была безголосый соловей. Она все время писала, и все это не только было утроблено, но она была растаскана, и она не один раз сожгла очень многое. Когда Леву брали последний раз, у нее делали обыск, и, когда они ушли,

---

<sup>1</sup>Речь идет о стихотворении Анны Ахматовой

*Как вплелась в мои темные косы  
Серебристая нежная прядь -  
Только ты, соловей безголосый,  
Эту муку сумеешь понять.*

*Чутким ухом далекое слышишь  
И на тонкие ветки ракии,  
Весь нахохлившись, смотришь - не дышишь,  
Если песня чужая звучит.*

*А еще так недавно, недавно  
Замирали вокруг тополя,  
И звенела и пела отравно  
Несказанная радость твоя.*

она мне рассказывала, как это было. Совершенно не так, как описывает Надежда Яковлевна Мандельштам, которая любит... у нее такая неквалифицированная манера: услышит что-то, и ей уже кажется, что она про это знает, и рассказывает. И вот она пишет, что когда взяли Леву, Ахматова кричала. А мне Ахматова рассказывала с большим стеснением и смущением, потому что это очень патетичная сцена, — как она благословила Леву, он встал перед ней на колени, и попрощались. Его увели. А потом, она говорила, я потеряла сознание, а очнулась, — они были еще тут. ГПУшники, но уже, наверно, не НКВД, а как они назывались? А теперь вставайте, мы будем делать у вас обыск. У нее делали обыск. И когда они ушли, она схватила пачку, все то, что было разбросано, и бросила в печку, у них была печка в комнате, такая временная печка. Так она мне говорила, и действительно она многое сожгла. Но, если мы об этом заговорили, я вам расскажу эпизод, который я никому не рассказывала и не записывала, а собиралась записать. Так вот я вам сейчас расскажу. Когда у нее делали обыск, то следовательно, достаточно грамотный, чтобы разобраться, нашел у нее «Стихи о неизвестном солдате» Мандельштама. Эти стихи произвели на него сильнейшее впечатление. Он спросил: «Кто это писал?» Ахматова ответила: «Осип Мандельштам». И всё. А он взял эти стихи, не знаю, кем были переписанные, то ли рукой Мандельштама, то ли Надежды Яковлевны. Этого я не знаю, она мне не говорила, но главное то, что этот следователь — я так представляю, они пришли 7 ноября или 6, нет, 7-го, — в праздники, когда человек немного расслабляется: не надо никуда идти, праздник, да? Они явились с утра, и был вот этот обыск, пока он был, уже стемнело. Ленинград, ноябрь. Анна Андреевна говорит: Он сел к окну и прочитал очень внимательно эти стихи, потрясенный следователь. И у меня так записано для себя, что он, очевидно, воевал где-нибудь на фронте. Когда деревья, огромные вековые деревья с корнем вырывались, и читал эти строки:

*И дружит с человеком калека:  
Им обоим найдется работа.*

И был потрясен этими стихами. Вот хорошо, что я это сейчас сказала. Это очень интересный факт. Как это все перемешивается, понимаете?

А теперь расскажу второй из этой же области. Когда было постановление о Зощенко и Ахматовой, то у них, у Мандельштама и Ахматовой, были противоположные манеры общаться с людьми. Мандельштам хотел втянуть как можно больше в свою беду, и, как ему казалось, — он этим сам себя обманывал, — что беда не так уж велика, я так это понимаю. Ну, ничего особенного, что вы так боитесь? А Ахматова страшно боялась погубить, особенно молодежь, потому что к ней всегда кто-то приходил читать свои стихи, а она никого не пускала. Она говорила: «Нет, нельзя, нельзя!» Но к ней пробрался один, как он пробрался, я не знаю, артист цирка, акробат что ли? И он сказал: «Хотите, выходите за меня замуж, хотите, усыновите меня. Я вас беру на свое иждивение». А Ахматова говорит: «У меня есть сын. Лева есть!» И это было, по-моему, очень трогательно. Артист цирка. Не писатель, они боялись поздороваться и делали вид, что они незнакомы, особенно с Зощенко. Это было наглядно очень. Я знаю, что один из его хороших друзей, он же всегда был в среде, встретил Зощенко после этого постановления и сказал: «Миша, у меня семья», — и ушел на другую сторону. А этот, значит, циркач пробрался и вот берет ее на свое иждивение — ее же лишили карточек. Он говорит, что если она хочет, то пусть выходит за него замуж, хочет — пусть усыновляет, все равно он ее не покинет. Потом она приезжала в Москву и рассказывала. А я запомнила: такие вещи, они очень интересные.

— *Ваш отец был врач?*

— Да, врач был отец. А мать домашняя хозяйка, так называлось. Отец — врач, мать — домашняя хозяйка. Вот такие родители.

— *А как сформировалось решение стать исследователем литературы? Повлияло ли знакомство с Мандельштамом?*

— Нет. Лермонтов. Лермонтов, Эйхенбаум...

— *Я имею в виду, когда вы решили стать исследователем, после того, как попали в литературную среду или нет?*

— Нет. Вообще, у меня была такая склонность. Я что-то писала, пока училась в школе, да. Ну, это все сказывается. Все были какими-то ученицами, потом с некоторыми я встречалась, которые как-то выделялись, потому что общая масса не может, потому что это не массовая, собственно, вещь. В школах, в гимназиях все же учились. Так вот мои сочинения читали в другом классе. У нас была особая учительница, это особая история в нашей гимназии. Так вот я и тог-

да писала, и совсем не плохо, — то есть, уже так, как я потом выработала свой почерк собственный. Спрашивали, что ты там такое пишешь? Мало ли что! И уже тогда, в старших классах, начиталась Ибсена. И надо было написать сочинение о «Полтаве», и я написала, что главный герой был Мазепа. Сильная личность — это по Ибсену. А другие мне говорили: «Что ты пишешь? Какую ерунду? Сочинения совсем не так пишут. Нет, ты никогда не будешь писать».

— *Но относились хоть с уважением? Андрей Белый вспоминал, что его травили за то, что он писал в гимназии. Издевались над ним.*

— Да, конечно. Ну, Белый — это такая величина, вы знаете? Он же такие заумные вещи писал, и «Антихрист», и все это было. Он был, конечно, фигура такая. Я его не знала, я читала, я его слышала в Политехническом музее, когда он приехал из Берлина, и он танцевал фокстрот. Читал лекции и показывал, как танцуют, один, без пары. И вообще, у него были танцевальные жесты. И вообще, чего там только не было, и, когда я это читала, я думала, я очень люблю Андрея Белого. Тут тебе и буддизм, тут тебе и восток, и все что угодно. Они были очень сильные по объему кругозора. Это, конечно, было большое возрождение, безусловно. Но все кончается.

— *У вас, действительно, удивительная судьба. Судьба нашего века.*

— Да, это и интересно. Женские судьбы интересны. Каждая, с которой сталкиваешься, это как в первый раз, понимаете? Вот у меня нет биографии, но это другое. У меня есть внутренняя жизнь, понимаете? Вот так сложилось.

— *Вы всегда занимались теорией литературы в какой-то степени... То есть вы занимаетесь биографией?*

— Да, я занимаюсь многими биографиями, но не биографией вообще, а всеми спорными и еще нерасследованными моментами биографии. Так случилось, что я занималась Лермонтовым, с него я начала, потом Пушкиным пришлось заниматься, то есть, это напоследок как раз — Пушкин. А потом я, познакомившись с Мандельштамами и Ахматовой, постепенно входила вначале просто в поэзию их, сколько могла, а затем и в биографию, а сейчас, уже после того, как вышла моя книга, я пишу, так сказать, резюме, эпилог, в котором я уже даю портреты, как я понимаю Мандельштама и Ахматову.

Теперь почему я так выделяю, что я занимаюсь тем, чем не занимаются другие? Потому что в XIX веке вообще не было такой культуры. Например, Бартенев, когда он получал и хранил, он же был

коллекционер, издатель Русского Архива, и у него были рукописи Пушкина. Так он очень уж любящим Пушкина отрезал кусочек от Пушкина и дарил. Все это было на таком уровне коллекционерства. Что касается науки, ну, наука... много было в XIX веке всякого очень интересного, важного сделано. Ну, в отдельных моментах. Не биография, это грубо сказано, — судьба, надо говорить, о судьбе. Очень много оставалось нерасследованным совсем. И люди не знали, как подойти. Оказалось, что у меня есть к этому способности. И моя работа исследователя очень близка к работе следователя. Я, например, часто слышала даже в печати похвалы известной юристки, и очеркистки, и писательницы Ольги Чайковской. Она всегда хвалила мою работу именно с точки зрения профессиональной, юридической. Но, конечно, работа следователя и работа исследователя биографии или литературы, поэзии, очень разнятся. Потому что следователь обязан только на документах и на фактах базироваться, и, когда начинает фантазировать, он всегда использует свой жизненный опыт, когда он разбирает преступление... конечно, он у него большой опыт.

Но я же разбираю не преступление, а загадочные моменты судьбы такого знаменитого человека, о котором пишут очень много, и каждый пишет то, что он думает по этому поводу. И вот в этом оказалось разбираться чрезвычайно интересно, и иногда хорошие получаются результаты, хотя бывают и ошибки. Без ошибок никакая работа не дается. Теперь я приведу пример, почему наши ученые, хорошие ученые, заслуженные, много сделавшие, совершенно не занимаются вот этой диагностикой отдельных моментов. Вот я вам приведу пример.

«Кружок шестнадцати», которым я стала заниматься, прочитав статью Эйхенбаума. Это было в 35-ом году, когда был еще большой подъем для новаций, для поиска новых путей в литературе, в изучении литературы. Он написал замечательную, увлекательную статью «Основные проблемы изучения биографии и творчества Лермонтова». И, оказалось, что есть несколько проблем, которыми надо заниматься. Вот, например, НФИ такая, Наталья Федоровна Иванова, — это юношеская любовь Лермонтова. Этим занялся Андроников, который еще студентом был учеником Жирмунского, Эйхенбаума, — он в Ленинграде учился тогда. Потом была проблема отца Лермонтова. Очень все было загадочным: и стихи, которые Лермонтов посвящал отцу, были непонятные, или, во всяком случае, раз-



ные толкования были, и «Кружок шестнадцати», о котором было известно два упоминания и больше ничего. А вся литература, которая возникла только в 1895-ом году, сосредоточилась на двух цитатах, которые перекидывались из работы в работу, хотя и работ, и упоминаний было очень мало. Были разные взгляды на эту проблему. Один из них, который разделял Эйхенбаум, придавал большое политическое значение этому кружку. Вот мы занимались всякими любовными историями Лермонтова... А они понимали, что тут был политический кружок. Другие говорили, что никакого политического кружка не было, а был просто, ну, клуб такой, компания, они пили, развлекались. Есть две цитаты, что после театра, после балов они сходились по вечерам и очень свободно высказывались обо всех: и о дворе, и о царедворцах, и больше ничего. Два таких высказывания диаметрально противоположных. Одни придавали огромное значение этому кружку, а другие никакого, в общем. И вот случилось, появилось третье высказывание, очень важное, потому что это был дневник одного из членов кружка, который потом стал министром при Александре II. И его дневник долго подготавливался к печати, потому что это был политический документ, ну, исторический документ. Его комментировал Оксман, Юлиан Григорьевич Оксман, заслуженный ученый, историк, историк революционного движения. Он и сам сидел 10 лет, а когда вышел — стал готовить эту книгу, и она очень долго издавалась. А между тем, там было третье упоминание о «Кружке шестнадцати», в котором Валуев, который был то ли председателем Совета министров, то ли министром внутренних дел, писал о смерти одного из «16». Дал некоторые описания его жизни и смерти и при этом упомянул «16», к которым принадлежал Лермонтов. Это третье упоминание очень важное... Так Оксман, зная, что у него никак не выходит этот дневник по политическим причинам — это такое очень фундаментальное издание — дневник Валуева, он мне даже про это упоминание не сказал. И пока книга не вышла, я не знала, что есть уже такое прямое упоминание, которое не вызывает никаких сомнений. Это потому что вся настроенность направления мысли историка и публициста... и, ну, ученого Оксмана было направление. Ну, что тут выяснять, а, между тем, такие вещи очень нужные. Это я к примеру говорю.

— Эмма Григорьевна, вот Ахматова уговаривала вас заниматься Гумилевым?

— Да.

— А вы выбрали Лермонтова?

— Нет, я просто не могла тогда, потому что она хотела, чтобы я... вот она мне назвала, что есть Лукницкий (теперь у него вышли записи), а был еще и Горнунг. Эти два человека занялись биографией казненного Гумилева. И Ахматова хотела, чтобы я тоже этим занималась. Но дело в том, что я была связана с Анной Андреевной и с Львом Николаевичем, с Левой, ее сыном, и потому предложение само собой отпало, этого уже никто от меня не ждал. И Анна Андреевна не хотела тоже заниматься, хотя Гумилевым как раз мне было бы трудно заниматься, потому что у него очень много театрального, которое мне было не под силу. Именно в литературном отношении.

Теперь, чем отличается работа исследователя от работы следователя? Он не смеет фантазировать, а он фантазирует очень часто, я это знаю. Адвокаты пишут книги. Они большей частью не ценны, потому что у них нету настоящего художественного, не поэтического, а художественного воображения, а у есть только использование своего опыта. Вот Кони! У него были очень интересные случаи. Конечно, он их и описывал, это интересно. А бывают и потуги писать романы, ну, это, в конце концов, это их дело. Дело исследователя литературы или биографии — это другое, потому что на одних документах, на одних фактах нельзя, надо уметь проникнуть в атмосферу, в жизненные условия, в каких эти факты совершались. А следователь не имеет права. Вот, документ есть... нет — не подтверждено, потому что от его работы зависит жизнь или смерть подсудимого. А мы себе позволяем фантазировать, писать сочинения: вот мне так представилось, и я хочу вот так написать. Я же себе этого не позволяла. У меня было сочетание: очень кропотливое собирание материалов и контроль, что правильно, что неправильно. Причем очень многие говорят, я где-то читал то-то, то-то... нельзя «где-то читал», а надо знать, кто тебе дал это, кто печатал, кто говорит, что это за человек, — поэтому это очень емкая работа. Вот так, значит, я с Лермонтовым кое-что сделала. И «Кружок шестнадцати» как-то все-таки освещен теперь. Особенно удаются работы, когда они суммируют то, что ты сделал. Вот в Лермонтовской энциклопедии мне удалось опубликовать лучшую статью из моих о «Кружке шестнадцати», именно в энциклопедии. Вот сейчас будет отмечаться 200-летие со дня рождения Пушкина. А у меня была статья, вот она у меня напечатанная. Я вам сейчас прочи-

таю резюме, оно вас страшно удивит. Я расскажу, какая была на нее тогда, так мельком, даже не рецензия, а упоминание негативное. Вот мое резюме. Пушкин, то есть я говорю о известном случае, Пушкин вел себя умно. Он превосходил своих друзей и дальновидностью, и твердостью характера. Получив диплом с прозрачным намеком на царя, он немедленно послал письмо. Этим он делал всю историю банальной, переводя любопытство светской толпы на роман красавицы жены с красавцем кавалергардом, заглушая перешептывания избранных царедворцев, потому что диплом с намеком на измену Натальи Николаевны с царем получили очень мало людей, близких ко двору. Это не распространялось, боялись распространяться о трагическом. И он заглушает перешептывание о стратегическом и унижительном положении мужа царской наложницы. Вот такое резюме. На это ответил один известный пушкинист, у него была такая колонка, и он там уделил внимание моей работе. Довольно недавно, в 95-ом, вышел альманах «Лица», это Пушкинский дом, это специальный биографический альманах. И он писал, что вообще-то он меня уважает, только зачем я занялась такой проблемой, о которой уже столько написано? Это совсем уже неинтересно. Лучше бы говорить вообще о Пушкине как о мыслителе, об историке, о поэте, как угодно, но только не обращаться к этой затащенной теме.

Теперь, если вам интересно, я расскажу, какие пункты были. Я расходилась и с Анной Андреевной — после ее смерти я составила книгу «Ахматова о Пушкине», и моей задачей было как можно яснее отразить точку зрения Ахматовой. Там я с ней и не спорила, это было бы неуместно, была другая задача. Но я иногда с ней спорила, пользуюсь ее наблюдениями мелкими, которые не вошли в эту книгу. Какие же это пункты? Во-первых, значит, Щеголев написал два-три издания «Дуэли и смерти Пушкина». Это был один из сногшибательных таких трудов XX века. Новый век, по-новому ко всему относятся, и он обращал главное внимание на роман Натальи Николаевны с Дантесом. И так прошли его два издания. Другой ученый, не менее известный, у нас в Пушкинском доме работавший, заметил, что ведь тут же, в этом дипломе, есть намек на связь Натальи Николаевны с царем. Вот что значит этот «диплом». И за это Щеголев ухватился, выпустил третье издание, где всю эту тему разработал. Он очень написал хорошо, ярко, интересно. После этого прошло много лет, и вдруг решительно стали отвергать эту тему. Ничего в дипло-

ме не было, никакого намека, а все дело было в Дантесе. И с этим и Ахматова была согласна, ее позиция — что Дантес да, действительно, досаждал Наталье Николаевне, но потом она не давалась ему, ему это надоело, он стал о ней плохо отзываться, и все это кончилось очень плохо. Для Пушкина. Ну, я не могу с этим согласиться. И начала, да... а был такой пункт, что было свидание Натальи Николаевны с Дантесом подстроено подругой Натальи Николаевны, которая сама была влюблена в Дантеса. И она пригласила его к себе, и когда Наталья Николаевна приехала, то оказалось, что ее нету, а есть в квартире Дантес. Вот это и было тем пунктом, который заставил Пушкина вызвать Дантеса на дуэль. Но это как-то банально выглядит, что-то есть в этом уголовное... И Анна Андреевна решительно отвергала это. Но, проверив по документам, многими муссировавшимися, которые отрицали многие... по документам это было именно так: действительно Пушкин получил уведомление от какого-то анонима, что Наталья Николаевна была с Дантесом наедине. А эта женщина — Идалия Полетика, она была замужем за кавалергардом в чинах, то есть поэтому жила в доме, где казармы, где оказался Дантес и т.д. Ну, какая пошлость, все это мне не нравится. Но это было по документам, вот я и занялась этой кропотливой работой. В военно-судебном деле, которое было, по которому Дантеса судили, потому что дуэли были запрещены тогда законом, он должен был отвечать, а тут еще и убийство. Строгая ответственность была за это. Так вот, там сказано, что, получив два письма, Пушкин немедленно послал письмо необыкновенно дерзкое приемному отцу Дантеса. Причем следователи пишут, что для этого должны быть важные причины, чтобы написать такое письмо представителю другого государства, дипломату. И это устанавливается многими документами, которые одни признавали, другие отрицали. Да, это так. Что надо было сделать Пушкину, когда он узнал, что его жена совершенно скомпрометирована? Она бывает при дворе, это мы все знаем, ее приглашали на вечера во дворец, и у Пушкина было поэтому очень сложное положение. Так вот документально доказывается, что такое свидание было, его нельзя отрицать, и как раз так должен был Пушкин поступить, только так, и так он и поступил. Потому что игнорировать это невозможно, а между тем (вот, я сейчас кончу, я очень много об этом говорю. Вы меня извините, но я этим сейчас занимаюсь), все думают, говоря о дуэли Пушкина: он был великий, он был историк,

он занимался Борисом Годуновым и Петром Великим. Но ни то, ни другое не было напечатано, — вот его настоящие страдания, а тут... ну, подумаешь... ну, посплетничали о Наталье Николаевне... А ведь это было надругательство, и по светским законам того времени надо было немедленно бежать из Петербурга в свою деревню, а Пушкин был разорен дотла. Его Михайловское должно было пущено с молотка. Он пошел на дуэль и рискнул, и вся эта жизнь... И напрасно так много говорят, как ему не хотелось жить, что это было самоубийство, что ничего этого не было. Была человеческая реакция на, увы, человеческие, слишком человеческие обстоятельства. Вот в этом моя идея и заключается, — что Пушкин никогда не может перестать быть человеком. Обстоятельства были такие, что на них надо было реагировать. Но, увы-увы, ему не повезло. Вот этим я характеризовала намеки исследования, очень много было сделано именно по тем документам. А потом уже надо уметь сопоставлять, накладывать одно на другое. И тогда получается картина, которую нужно отстаивать и защищать. Но я, кажется, перешла все границы.

— *Расскажите, пожалуйста, о взаимоотношениях Анны Ахматовой и Льва Николаевича Гумилева.*

— Да ну, какие там взаимоотношения. Ну, какие они могут быть, какие они могут быть, когда люди разлучены на много лет, и постепенно накапливается у одного и другого совершенно, я бы сказала, искаженный образ всего положения? Ведь Льву Николаевичу, ему все время казалось, причем были люди, которые хотели это распространять... И Анна Андреевна, — ведь ее держали, как это называется, на коротком поводке, понимаете? То книгу ее берут ни с того, ни с сего, потом, оказывается, ее надо было немедленно сжечь, изъять. Не успели, ее пустили в продажу... пока они там не спохватились, пока писали всякие доносы: надо то-то, надо то-то... Это же машина. Изымать? Откуда ее изымать, когда уже раскупили? Вот так это было. А в лагере говорили, например, — было такое возмутительное совершенно событие, уже был какой год... 54-ый, после смерти Сталина это было, — что приехали туристы из Англии и хотели видеть Ахматову, опальную поэтессу. Они хотят ее видеть, а правительству надо было ее показать — Зощенко и Ахматову. С тех пор прошло много лет. А Леве говорят в лагере: «Ваша матушка очень хорошо выступала». А матушка совершенно не знала, это был подвох. Понимаете? А эти студенты, они же ничего не понимают. Приехали с Запада, им

интересно, — можно поговорить с опальной знаменитой Ахматовой? Пожалуйста. А что она может сказать? Они задают глупейшие вопросы: «Как вы относитесь к постановлению о журнале “Звезда”?» Который закрыли за то, что они (еще и «Нева» — два журнала)... которые восхваляли перипетии Зощенко, восхваляли Ахматову, выбирали ее в члены правления Союза писателей. Вот удар по ним... А студентам?.. Ну а как, как вы отнеслись?.. Зощенко, который всегда был знаменит и популярен, он всегда был советским писателем, стал говорить, что нет, я не согласен. А Ахматова сказала, что я совершенно согласна с этим постановлением, то есть, в сущности, прекратила разговор. А Леве сказали, что твоя мать — процветает, сейчас ее книга будет издаваться. Она так хорошо живет — а его не выпускают почему-то, и он не может ничего понять. И те, кто вместе с ним делили посылки, — такая своя компания была, — они тоже ничего не понимали: и как же так, если она занимает такое положение, как же она не похлопочет? Они не знали, что она заложница просто. Вот от этого все произошло.

Так что это трагедия. Как-то она все-таки разрешилась. Анна Андреевна очень искала посредника, а, в конце концов, сама послала сыну свою книгу, послала с ласковой надписью, и он был счастлив. Но она умерла очень скоро...

*Публикация  
Владимира АЛЕКСАНДРОВА  
и Сергея НАДЕЕВА*